

Марат Басыров

ЖеЗеЭЛ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

АЛИК

1

Алик немного манерный, мягкий, можно даже сказать, кроткий, и в то же время он частенько бывает наглым. Кажется, он и сам дивится этой своей наглости: «Но ведь могу же!» – всем своим видом как будто говорит он себе и другим. Правда, с оглядкой: не переборщить бы, не получить бы леща за эту наглость.

Я познакомился с ним у Коли Сергеева, который собрал нас у себя дома. Когда я пришел, в комнате было уже человек шесть. Никто никого не знал; в тесном, плохо освещенном пространстве царила общая растерянность, а тут еще открылась дверь и вошла женщина, по всей видимости, мать Сергеева. Уперев руки в бока, она заявила: «Ну-ка, господа, быстренько предъявили паспорта!»

Всех собравшихся за столом охватило еще большее замешательство. Такого никто не ожидал. В самом деле, что за шутки, какие еще, к черту, паспорта? Сергеев поднялся со стула и попытался выпроводить мать за дверь, но та уперлась. Она

не хотела уходить просто так, не заглянув в наши документы. Пока они, стоя у двери, толкались, а народ втягивал головы в плечи, я под весь этот сыр-бор пробрался в коридор и выскочил на лестничную площадку перекурить. Здесь и столкнулся с выходящим из лифта Аликом.

Он был худой и немного нервный. Его глаза горели мутным огнем, словно он только что выпил пару чашек крепкого кофе. В уголках его губ бледной пенкой запеклась слюна. Я потом заметил, что она у него всегда там запекалась, но он не обращал на это внимания, не придавая значения такой мелочи. Так и ходил с белым налетом на губах.

С ним была совсем юная девчонка, на вид – лет шестнадцати, но держалась она независимо, как будто пришла сама по себе. Мне она сразу понравилась, так же как и Алик. В них было то, что я искал в людях, – они совершенно не заморачивались тем, как выглядели и что говорили. И еще они постоянно смеялись. Смеялись и смотрели на меня, словно приглашая присоединиться к их смеху. Я рассказал им про мать Сергеева и про паспорта – здесь, на гулкой лестничной площадке, смех звучал особенно раскатисто.

Когда, покурив, мы вернулись в комнату, никакой матери уже не было. Все сидели вокруг стола, настороженно глядя друг на друга.

– Сначала чай или стихи? – спросил хозяин.

Вот те раз, чай! А я-то уж подумал, что мы будем пить мужские напитки.

Алик был удивлен не меньше моего. «Сначала паспорта, затем чай, что за детский сад?» – говорил его озадаченный вид. Впрочем, он тут же махнул рукой: почему бы и правда не сделать передышку? Конечно, отсутствие алкоголя – штука пренеприятная, но ведь это всего лишь эпизод, к тому же по опыту кратковременный.

– Так что, чай или стихи?

– Да без разницы, Сергеев, как тебе будет угодно.

Все облегченно закивали, заерзав на стульях. Тут было пятеро парней и четыре девушки. Или наоборот, мне было все равно. Остановив свое внимание на Алике, я уже не замечал других. В комнате горел торшер, косо падали тени. Меня охватило какое-то странное чувство соучастия, сговора.

– Ну так что?

– Николай, давай уже чай, – улыбнулся Алик. – Если действительно нет ничего покрепче.

– Покрепче нет, – проговорил Сергеев по слогам, отсекая все возможные возражения.

Когда он ушел готовить напиток, в комнату снова просочилась его мамаша.

– Так будем паспорта показывать или нет? – завела она ту же пластинку, вопросительно оглядывая наши лица.

– Будем, – сказал Алик и, встав, начал расстегивать ширинку.

Мать Сергеева, растерявшись, вытаращила глаза. Она хотела что-то сказать, но подходящих слов

не было. Так и не найдясь, женщина погрозила пальцем и вышла, хлопнув дверью.

Потом мы пили в тишине горячий чай, слышен был только хруст сушек и шаги по коридору. За окном выла вьюга, а нам было тепло и уютно, как будто мы давно искали и вот наконец нашли друг друга.

Дело дошло и до стихов. Все читали по кругу, по два-три стихотворения, а когда наступил черед Алика, он прочитал рассказ.

Рассказ был большим, он не умещался в пределах этой комнаты, как будто привычный ее объем вдруг начал расширяться каким-то совершенно невероятным образом. Текст не был ярким или взрывным, он просто развивался по своим законам. Он рос с каждым предложением и постепенно набирал мощь, становясь огромным и разрушая к чертовой матери эти стены! И тогда я понял, что Алик самый значительный из всех, кого я до сих пор встречал. Когда он закончил читать, Сергеев только крякнул, как утенок, попавший под гусеницу танка. Наступила тишина, а потом настала моя очередь, и я выдал пять своих лучших стихотворений.

2

В то время я обитал в общежитии в Автово, а мой новый приятель Алик – в однокомнатной квартире на Гражданке. Потом я узнал, что она принад-

лежала отчиму, который жил с его матерью в их «двушке». Как я уже сказал, Алик был худой, выше среднего, с впалой грудью и тонким большим носом – его любили все женщины, которые его знали, и даже те, с которыми он был едва знаком. Парни, кстати, тоже его обожали. Бывают такие люди – они нравятся всем. Даже завистники не могли скрыть свою симпатию. Он всех покорял своим обаянием.

Я долго не мог понять, в чем причина такого однозначного отношения к нему. Чем он подкупал, чем заслуживал любовь? Может быть, дело в том, что его невозможно было представить хамом, или подлецом, или тем же завистником. Этот человек был настолько обаятелен и честен во всех своих проявлениях, что располагал к себе сразу же, с первых минут. Ему невозможно было отказать, а он ничего и не просил, в то время как вам хотелось обязательно что-нибудь для него сделать и вы ждали, что он обратится с просьбой, например одолжить денег или помочь советом, но он только улыбался и говорил, говорил не переставая, однако в его словах не было ничего такого, что вы могли бы тут же исполнить.

Он жил один, время от времени приводя девушек. Иногда в его квартире оказывались сразу две, но одной все равно приходилось ретироваться, так как он был консервативен в плане секса: никаких девушка-парень-девушка или, не дай бог, парень-девушка-парень. Он занимался сексом на отчимовском канапе, после чего курил в постели,

а затем мог и почитать – пока его партнерша спала, он уходил на кухню и там сидел на табурете, поджав колени, надолго забывшись в толстенном томе Стерна или Рабле.

Ко времени нашего знакомства Алик нигде не работал и не учился – просто жил, питаясь своей молодостью. Его старый чумазый холодильник, бывший когда-то белоснежным, временами каким-то волшебным образом рожал продукты. Алкоголь приносили друзья и девицы, с этим тоже не было никаких проблем. Если ему и нужны были деньги, то только на сигареты. Он курил тогда «Пять звезд», которые считал эстетскими, потому что при чрезвычайной дешевизне у них был вполне приличный вкус.

Мы очень быстро с ним сошлись, буквально стремительно, как, наверное, сходятся в космической ракете, когда вокруг безвоздушное пространство, а жизнь только здесь, рядом друг с другом.

Алик сразу же закатил вечеринку в честь нашего знакомства, назвав его общим днем рождения. Я ехал к нему на другой конец города по первой линии метро, на которой впоследствии произойдет размыв, и тогда, чтобы добраться до Алика, нужно будет выходить на «Лесной» и пересаживаться в автобус, а затем, проехав несколько остановок, снова нырять под землю на «Площади Мужества». Но пока линия была непрерывна, вагоны покачивались и, разогнавшись, с веселым грохотом несли меня к нему. Только-только закончилась зима,

и весна, робкая, как девочка, входила в накуренную комнату, полную пьяных парней.

Алик встретил меня так, словно мы были друзьями детства. Меня сразу же поразило его ненапускное радушие. Едва войдя в квартиру, я тут же ощутил себя желанным гостем.

Кроме Алика, здесь был еще один парень – рыжий, с гусарскими усами и такими же озорными огоньками в глазах. Он говорил со вкусом, немного грассируя, и поглядывал в зеркало, висящее на стене, словно мимолетом любясь собой. Его звали Шульц, и он был ментом.

«Вот это номер», – сказал я себе, когда узнал о месте его работы. Шульц совсем не был похож на мента, хотя я бы, наверное, не удивился, увидев его в машине ППС, – это выглядело как парадоксально, так и вполне логично. Отныне все было возможным, и я уже не удивлялся ничему.

Впрочем, Шульц был не простым ментом, а тоже, как и Алик, писал рассказы. Сидя на стуле, он все время цитировал какие-то забавные фразы из собственного творчества, с которым я пока не был знаком, но уже предвкушал нечто необычайное. Теперь все, что было связано с Аликом, таило в себе если не вселенскую глубину, то уж точно небольшую бездну.

Гостей было немного, пришли еще две девушки, одна из которых оказалась той самой, бывшей с Аликом у Сергеева. Помнится, мы вышли тогда

на улицу и, окунувшись в вихрящийся снег, поплыли по нему к далекому метро, как крохотные суденышки – к Большой земле.

Ее звали Тася, у нее был ахматовский профиль и низкий грудной голос. Она встретила меня как старого знакомого, обняв и расцеловав в щеки.

Другая была Аня, высокая, с отличной фигурой. Она немного стеснялась или делала вид, что смущена. По ее словам, ей было неловко, что она единственная из всех собравшихся никак не проявлялась творчески. Аня не писала, не пела и даже не танцевала, зато, как выяснилось скоро, очень любила кино и со временем хотела бы попробовать его снимать. Этого было достаточно: мы все любили кино не меньше, чем литературу, но больше всего – красивых девушек.

В тот день мы напились так, как напивались только герои Генри Миллера и Чарльза Буковски. Эти имена звучали весь вечер, эти и другие, они наполнили маленькую кухню, и пусть в окне маячили кирпичные девятиэтажки Гражданского проспекта – у нас шумел Париж и гудел Лос-Анджелес. Тут были два пьяных писателя, самый прикольный на свете коп и две смешливые подруги. Мой чертов локоть касался нежной груди одной из них, и в штанах было твердо и мокро, и все время хотелось счастливо смеяться и плакать от нежности, и целовать того, кто был рядом.

Я не помнил, как оказался с Тасей в комнате, как я вообще оказался с ней, на ней и даже в ней.

Потом она гладила мою голову, что-то приговаривая, будто бы утешая. Она просила меня успокоиться, тихо убеждая, что хватит и одного раза, что больше нет презерватива, а без него она не даст. Без него она не даст никому, даже самому Генри Миллеру. Все остальные сидели на кухне, и только Шульц, как выяснилось потом, ушел за пивом, да так и пропал.

Понемногу придя в себя, я почувствовал, что, возможно, перегнул палку. Возможно, никто из собравшихся в этот вечер не предполагал такого развития событий, что оно было нежелательно и, более того, недопустимо. Меня охватил стыд, хотелось тут же собраться и уйти, однако, встретившись глазами с Аликом, я понял, что все в порядке. Аня сидела у него на коленях, они радостно замахали мне, словно мы не виделись целую вечность. Где ты пропадал, парень? О, можешь не говорить, мы все знаем! Мы все про вас знаем!

Как выяснилось, Тася была тут не впервые и чувствовала себя едва ли не хозяйкой. Она набрала полную ванну горячей воды и, раздевшись, погрузилась в нее. «Тут хватит места для меня?» – спросил я. «Конечно, залезай!» – ответила она. И я последовал за ней.

Неожиданно на краю ванны появилась бутылка пива, словно ее откуда-то издалека телепортировал нам Шульц. Мы сидели в горячей воде, друг против друга, и отхлебывали из холодной бутылки, передавая ее из рук в руки. На кафельной

стене было выведено черным маркером: «Я поеду с тобой на край света, лишь бы там была ванна». И еще: «Помни, ты на восемьдесят процентов состоишь из того, в чем сейчас находишься».

Не знаю, как насчет воды, но алкоголя в нас было предостаточно. Когда вода остывала, мы подливали горячей, она переливалась через край на пол, и я никак не мог нащупать пробку под Тасей, все время натываясь на ее промежность.

Шульц так и не вернулся. Алик постелил нам на полу, в углу комнаты. Аня легла вместе с ним, и минут через пять после того, как выключили свет, до нас донеслись характерные звуки соития. «Ладно, – прошептала мне Тася, когда они включились на полную мощность, – давай без презерватива». Я мысленно поблагодарил Алика и притянул ее к себе.

Потом мы курили, сидя на полу рядом с нашим матрасом, в тесном кружке, почти касаясь друг друга. Все подробности поглощал полумрак, лишь четыре огонька, как светлячки, танцевали в ночи.

Кажется, Алик с Аней пошли на следующий заход, а я обнял Тасю и, прижавшись животом к ее спине, погрузился в глубокий сон.

3

Порой Алик бывал невыносим. Кажется, он серьезно верил в свой талант и считал, что это его кое к чему обязывает. Например, к тому, чтобы

быть отъявленным эгоистом. Иногда я просто недоумевал, насколько глубоко он в этом завяз, а иногда завидовал его умению замкнуться и сосредоточиться на главной цели своей жизни. В том, что он писатель, не сомневался никто, но вот какой Алик писатель – тут мнения начинали разниться.

Одни говорили, что он едва ли не гений, – настолько их гипнотизировали его рассказы. Другие утверждали, что путь, по которому он пошел в своем творчестве, рано или поздно заведет его в тупик. Были и такие, которые просто молчали, не зная, что сказать. Что касается меня, то, будучи его другом, я был убежден в том, что он когда-нибудь станет отличным писателем.

Обычно он начинал готовиться к писанине за годя. Ему нужна была, по крайней мере, пара дней, проведенных в уединении, в тиши своей квартиры, чтобы настроиться на нужный лад. Что он делал в это время, чем занимался, никто не знал. Он становился другим человеком, от всегдашнего его радушия не оставалось и следа. Как-то раз мы просидели перед его дверью три часа, умоляя открыть, но он просто забил на нас и на наши сумки, полные вина. Он готовился стать великим писателем, там, за дверью своей квартиры, в то время как мы ему в этом активно мешали. Вот этого я понять не мог, вернее, мог, но не хотел, потому что сам, в отличие от своего друга, был катастрофически нечестолюбив. У него же была мечта, была цель, и он, конечно, напился бы с нами, но не в этот день. Не в эти четыре дня.

Потом он читал мне свой новоиспеченный рассказ, и я испытывал такую гамму чувств, что если бы разбирался в нотах, мог бы, наверное, за просто сложить из них симфонию. Тут было все: и восторг, и разочарование, и радость узнавания, и скука. Иногда, слушая, я ловил себя на том, что выпал из контекста и вообще уже давно не слежу за тем, что там происходит, и текст развивается где-то вдалеке от меня, не задевая моего восприятия. Его рассказы были долгими и тягучими, как эти четыре дня заточения, словно он уложил их длину на бумагу, обратив минуты в строки, а часы в абзацы. Читая, он бросал на меня взгляд, и приходилось быть начеку, чтобы не вывалиться из образа внимательного слушателя, – мне было лестно, что я был первым, чьему слуху он вверял свои творения, и только ради этого я готов был терпеть эту пытку.

В своей писанине он ориентировался на Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Владимира Набокова. Из современников ценил Сашу Соколова, Андрея Левкина и Валерию Нарбикову. Еще он обожал Генри Миллера, хотя того же Хемингуэя считал слишком простым и мужиковатым. Любил Жана Жене, Раймона Кено, Джерома Д. Сэлинджера, Габриэля Маркеса и Хулио Кортасара. Можно перечислить еще с полсотни имен, чьи книги он читал или собирался прочесть. Впоследствии он увлекся литературоведением и философией языка, стал изучать Барта и Бодрийера, штудировать

Лотмана и Бахтина. Затем наступил черед лингвистики – он все дальше и дальше уходил от того, что его окружало на данный момент, – что он вообще хотел понять? Или от чего бежал? От собственно неумения строить диалоги? От искусственных фабул и картонных персонажей, от неспособности заглянуть правде в глаза? Нет, он был самым талантливым из нас, я и сейчас так считаю. Просто ему не хватало характера. Да, не хватало стержня, чтобы писать так, как он мог бы это делать.

Мы тогда целыми днями просиживали в кафешках и кинотеатрах, спорили об увиденном и прочитанном, знакомились с людьми, клеили девушек. В городе было несколько мест, где собирались такие же молодые бездельники, как мы, более или менее приобщенные к искусству. Алика много кто знал, его везде окликали, хлопали по плечу, кричали через улицу: «Привет, чувак!» Он со всеми был любезен, всем рад и охотно делился сигаретами, даже если у него оставалось меньше половины пачки. Я не мог этого понять. «Что ты будешь делать, когда она закончится в одиннадцать вечера, а сон – тем дальше, чем сильнее хочется затянуться?» – хотелось спросить у него. Что бы он ответил на это? Просто пожал бы плечами. Он никогда бы не пошел в парадное собирать окурки, чтобы, выпотрошив и смешав табак, скрутить полновесную сигарку, как и не выскочил бы на ночной проспект стрельнуть курева у позднего прохожего. Алик мог спокойно оставаться один на один с собственной

неудовлетворенностью, с которой давно сжился. Он ко всему относился как к алкоголю: пил, когда он был, и не пытался во что бы то ни стало найти и продолжить, когда алкоголь заканчивался.

У него была библиотека, но книг из нее он не давал никому. «Это все равно что одолжить на ночь свою любимую женщину», – говорил он, отказывая в просьбе дать почитать. В то же время сам он постоянно что-нибудь читал или просто ходил с книгой под мышкой – Алик любил держать понравившуюся книжку при себе и перебирать длинными пальцами страницы – так нежно, так осторожно, словно усыплял бдительность красотки в намерении незаметно пробраться к ней под юбку. Тут было недалеко до оргазма, ей-богу, это надо было видеть, как он охмурял очередную книжку, прежде чем сполна насладиться ею.

Иногда, засидевшись, я оставался у него ночевать. Вино кончалось раньше сигарет, и мы курили на балконе, глядя на серое море июньской ночи. Небо светлело, постепенно наливаясь синевой, прохладный воздух тревожно пах грядущими переменами, будущими войнами, рожденьями детей, смертью близких, встречами и расставаниями, ссорами и перемирием, потерями и хеппи-эндами. А потом всходило солнце, золотое, как наша молодость, и по проспекту гудели первые троллейбусы и пели птицы, но мы уже не видели и не слышали этого, потому что спали в тихой прокуренной комнате.

У Алика было много друзей, но так получилось, что я стал самым близким. По крайней мере, мне так казалось, а вот что на этот счет думал он сам, я не знал. Скорее всего, спроси у него, кого он считает своим лучшим другом, он бы назвал того, с кем почти никогда не виделся. Например, Шульца.

В то время мы везде появлялись вместе. Я пытался подражать ему и быть таким же дружелюбным и легким в общении, однако у меня мало что получалось. Алик, в свою очередь, также не перенял от меня ничего хорошего – каждый оставался при своем. Мы были разными, и было непонятно, что нас объединяло, но кто об этом задумывается в двадцать лет?

Итак, мы таскались по кино, кафешкам и разным литературным объединениям. Когда просили что-нибудь почитать, Алик доставал из рюкзака картонную папку, распускал тесемки, завязанные бантиком, и выуживал стопку листов формата А4. Восемнадцать, двадцать, двадцать пять отпечатанных страниц, с пятнадцатисантиметровыми абзацами, не разбавленными диалогами, – продукт последнего пятидневного затворничества. Он начинал чтение, и все вокруг тут же впадали в транс, слушая его ровный голос, который звучал в одной тональности, поглощавшей знаки препинания. В этом было что-то сродни магии, он вполне мог

бы заклинать змей или еще каких-нибудь смертельно опасных тварей, если б захотел. Когда он мигнул через сорок заканчивал, слушатели открывали глаза и глубоко вдыхали, словно выныривающие на поверхность воды глубинные ныряльщики. По идее в руке каждого из них должно было быть по жемчужине.

Еще мы ходили по его друзьям – музыкантам, художникам и актерам. Любой такой поход приурочивался к какому-нибудь событию: празднику либо памятной дате. Просто так мы не заявлялись. Впрочем, дата могла быть любой: будь то день американской независимости или просто первый день лета. Бывало, узнав о предстоящем солнечном затмении, мы пробирались в сквот, где вместе с бомжами, уголовниками и скинхедами жили его знакомые барабанщики-перкусионисты, чтобы просидеть с ними до ночи со стаканами в руках, ни разу при этом не взглянув на небо.

Он не выпускал из рук блокнота, записывая в него какие-то мелочи, но, насколько я понимал, это была лишь игра на публику, та же самая, что и всегда: я писатель, посмотрите, я не трачу время на ерунду. Или вернее: для меня нет понятия ерунды – я все пускаю в дело, все идет в топку, горит жарким пламенем. «Предупреждаю, – говорил он мне в то время, – лучше молчи! Я использую все, что ты скажешь или сделаешь. Для меня нет ничего святого, никаких тайн, никаких секретов!

Ты будешь рыдать, как барышня, умоляя, чтобы я вычеркнул ту или иную сцену, но бесполезно. Ты не поймешь меня слезами. Все на продажу, мой друг! Все на продажу!»

Вот это анджевайдовское «все на продажу!» стало его девизом, его кредо.

Мы больше ни разу не были у Сергеева, зато регулярно виделись с ним на различных литературных посиделках. Сергеев плавно переходил с поэзии на прозу и теперь вместо угрюмых коротких стишков писал такие же короткие угрюмые рассказы.

«Поймите, – почему-то на “вы” обращался к нему Алик, – нужно писать не “что”, а “как”. Не бытие формирует сознание, а, наоборот, сознание – бытие. И если вы думаете, что “как” – это и есть бытие, то вы глубоко заблуждаетесь».

Сергеев морщил лоб, подозрительно поглядывая на Алика, а не парит ли тот ему мозг, но Алик если кому что и парил, то в первую очередь самому себе.

Что-что, а с содержанием или с сознанием у него было туго. Он не мог выдумать ни одного законченного сюжета, в котором бы герои рождались, любили и умирали без заламывания рук, как в фильмах на заре кинематографа.

Однажды я поспорил с ним, что за неделю напишу сорок рассказов, у которых будет начало и конец, пусть каждый из них и уместится лишь в три предложения. Для меня это было просто,

главное – расписать фабулу. Когда через неделю я представил ему все сорок, он вытаращил глаза.

– Ты гений, – сказал он мне.

– Да нет же, с этим любой справится, – ответил я.

Зря я такое сказал. Возможно, с этого момента он начал кое-что понимать о себе – и обо мне тоже.

Но первый раскол произошел у нас из-за женщины. Мы и раньше конкурировали в этом вопросе, но именно эта женщина вбила первый маленький клин в нашу дружбу.

Несмотря на молодость, у нее уже была пятилетняя дочь и сваливший в Израиль муж. Будучи практикующим врачом, он исправно посылал ей нехилые алименты, и на них она преспокойно снимала квартиру и, обеспечивая себя и ребенка, жила в полное свое удовольствие. В число этих удовольствий, кроме всех прочих, входили нечастые вылазки с Аликом в кино. Там-то он меня с ней и познакомил.

Ее звали Людмилой, но она представлялась Милой, словно, оставшись без мужа, срезала косу и теперь щеголяла с мальчишеской прической. Короткие волосы ей бы и правда пошли, они бы еще больше подчеркнули выразительность ее глаз. Но ее волосы были длинными, она собирала их на макушке в пучок и выглядела такой чопорной Одри Хепберн, мимо которой Алик, конечно же, с его то любовью ко всему изысканному пройти не мог.

– Я видела этот фильм, – приблизив лицо к моему, вдруг тихо произнесла она, когда на экране пошли первые титры.

– Я тоже, – сказал я.

– Тогда пойдем?

Пойдем? Это было неожиданное предложение. Когда мы уходили, я прочитал на лице Алика такое смятение, будто он потерял дар речи. Я лишь пожал плечами на его немой вопрос, сам мало что понимая. Меня вели как на веревочке, и я ничего не мог поделать.

Выйдя из кинотеатра, мы немного прошлись по улице, затем заглянули в маленькое бистро, где она заказала нам по чашке кофе и по пятьдесят копейка. Разговор не клеился, мы оба были смущены, и в большей степени я. Все случилось так неожиданно, я чувствовал исходящие от нее флюиды, мне было лестно и в то же время неловко.

– Это из-за Алика? – спросила Мила, когда мы ехали в метро.

– Мне кажется, он влюблен в вас.

– Влюблен? Бросьте! Алик не умеет любить. Может быть, он научится когда-нибудь потом, если повзрослеет.

Она, конечно, верила, что Алик может испытывать к ней теплые чувства. Почему нет? Мила знала, что может нравиться, после отъезда супруга у нее было много мужчин – она рассказала мне, как снимает их в джаз-клубе на одну ночь, а потом бросает. Или это они ее бросали? Не суть. В общем, она

искала богатого еврея, потому что ее бывший был евреем, и теперь мужчин других национальностей для серьезных отношений она не рассматривала.

– Вы еврей? – спросила она у меня, никак не желая переходить на «ты».

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА